

Виктор Астафьев

Тельняшка с Тихого океана



*Часть сборника
Печальный детектив (сборник)*



Виктор Петрович Астафьев

Тельняшка с Тихого океана

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=135212*

*Печальный детектив: Эксмо; М.: 2011
ISBN 978-5-699-46235-3*

Аннотация

«Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошелье, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...»

Виктор Астафьев

Тельняшка с Тихого океана

Александру Михайлову

Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошелье, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...

Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря – о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажей и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг – таков не закон, такой его, человека, норов или неизлечимый недуг, название которому – зло.

И вот думал я думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, поди-ка, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа, как жили тысячи лет назад,

так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупляются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионнолетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил Бог жизни, умирали от неизвестных нам болезней или, употребляя любимые тобой «ученые» выражения, – от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования.

И не нам, самодовольным гражданам земли, жующим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставивших под сомнение, высокомерно судить «окружение» наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их «неразумность», – без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем.

Но, быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы и лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая ныть в пояснице и натруженных руках, думаешь о

своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале «Дальний Восток», ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, похвалили бы за «достоверность материала», за «суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков», даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку...

Эвон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, протаривай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоди и плодись. Отчего-то ваш брат с беспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все «ищет бури, как будто в бурях есть покой»?!

Значит, ты уж совсем было достиг желанного, покойного берега, и тут меня черти подсунули. Они, они, клятые. Они и горами качают, они и судьбами нашими играют, мухлюя нагло, как Ноздрев при сражении в шашки. Бог себе такого позволить не может, Бог – он добрый, степенный, ходит босиком по облакам, Он высоко и далеко, Его не видно и не слышно. А враг-искуситель всегда рядом. Я вот пошевелил босой ногой под столом, он за пятку меня хватить! «Пиши, – похихикивает, – пиши! Посеял парню смуту в сердце, расшевелил в нем творческий зуд, теперь вот еще и посоли, живого, как он только что селедку или хилую рыбешку, под названием килька, присолил...» Впрочем, килька – это не у вас, это вроде уж на Каспийском море, да и той, говорят, ско-

ро не станет, гоняются за нею всем касрыбкилькахолодфлотом, дочерпывают – много за той махонькой рыбкой народу спасается и кормится, есть которые с отдельными катерами – для прогулок, с дачами в гирле Волги, где лотосы цветут, с дежурной машиной у подъезда.

Да-а, а рыбка-то плавает по дну...

Ты клянешь меня или нет? По последнему письму видно – сдерживаешься изо всех сил, чтоб печатно не обляять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в тепле сижу, за окном морозное солнце светит, крошатся в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью: «Все пишешь?! Людей смущаешь? Читал бы лучше. Книг вон сколько хороших написано, да «не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». Накрошил бы лучше хлеба в кормушку синичкам, я бы его у них отняла и съела. Вот тебе и матерьял для размышлений о противоречиях мироздания...»

А пишу-то я тебе не с бухты-барахты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе будет непонятным, да и ненужным.

Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой заклинила движение

в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли – такое уж свойство у нашей obsługi: как все ладно и хорошо – делать хорошее еще лучше, как плохо – улизнуть от греха подальше, все одно не поправить...

Я стоял среди унылого, истомившегося народа, опершись на «предмет симуляции» – так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамасском госпитале и суеверно мною берегомую, – износил уже, истерзал, разбил девять протезов, но палка все та же. От времени, от моей руки, моего тепла и пота она почернела. Вспомнился мне вот, в связи с палкой, чиновничек-международник. В Дом творчества писателей он затесался «для разнообразия», решил выдать миру книгу на международную тему. Этаким типичный пижон современности, изнывающий в нашем бедном Доме с порванным на бильярде сукном, со скользким от растоптанной селедки полом в комнате, с убогой библиотекой и по-иностранному хрипящей кинопередвижкой. Пожаловал он в писательское сообщество со своим кием в чехольчике из змеиной кожи, со «своей» девочкой из института иностранных языков, со своим коньяком и рюмкой, надетой вроде колпака на черную бутылку. Ясновельможная личность отчего-то обратила внимание на мою инвалидную палку и заключила, что она из экзотического заморского дерева. «Да-да, из дерева, арзамасско-

го», – подтвердил я, и поскольку дитя, выросшее на ниве рабоче-крестьянского государства, не знало и не знает, где находится Арзамас, оно, красиво вскинув модно стриженную голову и многоумно закатив глаза, начало мыслить: «Постойте, постойте! Это не из Бисау ли?» – «Да-да, Арзамас как раз на правом берегу Теши, супротив этого самого Бисау располагается».

Давно собирался написать я рассказ о своей палке, да вот не о ней, о тельняшке, которую ты мне подарил, приспела пора поведать миру. «О чем писать, на то не наша воля», – сказал один хороший поэт. Для нас, много литературной каши исхлебавших, сказал, но не для графоманов. Те пишут запросто, хоть про Демона-искусителя, хоть про Делона-артиста, хоть про жизнь Распутина (не Валентина, слава Богу, а Григория), хоть про дореволюционную политическую ссылку, хоть про современных мещан, морально разлагающихся на дачах.

Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже онемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертго воздуха стек-

лами, с волдырями капель на потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробьи.

Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно приникла девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-финку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня стало быть. «Посиди, дяхан, – буркнул, – на моем месте, я в уборную схожу». Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустил на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать.

Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил.

– Ну как же нам быть? – буркнул наконец, глядя в сторону.

– Ведь ты моряк, братишка, я – бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски: ты посидел и поспал, теперь я посижу и посплю.

– Тебе ж ногу оттопчут.

– О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит... Ширинку бы застегнул, братишка! Не ровен час, скворец улетит, або девки у него с чириканьем крылья оторвут...

– Ой! – прихлопнул ты «скворечню» и, отвернувшись, за-

дергал застежку, цедя сквозь зубы: – Напридумывали эти «молнии».

В этом вот смущенном «ой!» и в том, что ты клял цивилизацию, заменившую пуговицы на механизм, было много родственного. Не раз и не два шествовал я в новомодных брюках в общественных местах с раздернутой «молнией», не один позор нравственного порядка пережил, поминая добрым тихим словом старушку-пуговицу. Бывало, пройдешься, как по баяну, – музыка, лад, и все на месте. Цивилизация, стремительно овладевая нами, не отпускает времени на привыкание к ней.

Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, еще чего-то поправила и уставилась на тебя: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал?» – «Слишком». – «Значит, знаешь, где тут туалет?» – «Знаю. Но работает лишь мужской. Дамы бегают по клумбам и в кусты...» – «Хорошо, хоть кустарники не погибли при таком обильном увлажнении», – зевнула девушка и приказала тебе караулить место. Под задом соседки, на доске обнаружился во всю ширь раскрытый последний выпуск «Роман-газеты» с моим произведением. Ты сел на место девушки и начал неохотно листать «Роман-газету». У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь.

Еще «в начале моего творческого пути» увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху

меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники лесину, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, глазастая да интеллектуальная оказалась: шасть ко мне с французским изящным карандашиком: «Ой, простите, пожалуйста, автографик...» Я чего-то пытался сказать и написать шутивное, народ ближний начал озира́ться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, Боже милостивый! Недаром же до слез, до рыданий люблю я романс Гурилева «Вам не понять моей печали...», как и этого моего душевного смятения не понять никому. Моя книга в чужих руках, «на свету», кажется мне до жути глупой, неумелой, постыдной. Читали бы Толстого, Пушкина, Достоевского, Бунина... За что же меня-то?!

Но тогда, на аэровокзале, повторяю, у меня уже не было сил ни на какие эмоции. Поспал я недолго и тяжело. В вокзале еще больше скопилось народу, еще гуще сделался в нем воздух, он превратился в клей, в вазелин, в солидол или во

что-то еще такое, чем смазывают железные части и механизмы, защищая их от ржавчины, от излишнего трения. И я был весь в клейком мазуте, сердце мое дергалось в горле, руки дрожали, один лишь протез, защищенный с двух сторон – портфелем и чемоданом, лежал на полу недвижно и отчужденно. Задравшиеся штаны оголили на нем две пластинки из нержавеющей стали. Я достал штанину палкой и натренированно накрыл гачей протез.

Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне «Роман-газету» под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, спросила: «Это – вы?!» – я отстранил руку с книжкой.

– Я! Я! Не похож? Старею!

– Ну вот, а ты спорила!.. – подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: – Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!..

– Да кто глумится-то? – поднимаясь, сказал я буднично. – Господь Бог? Это Он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки, и инвалидов на вокзале небось десятки собралось... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какую-нибудь.

– Как вы так можете? Вам же тяжело...

– А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче.

Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ними дальше и выше безгрешно-чистое небо в кружевной прошиве по краям, выдохнул: «Хорошо-то как! – и, обернувшись к тебе, сказал: – Вот как мало надо человеку для счастья!...» – ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: «Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?»

Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом – литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как закатит их в бок – яркая, аж слепит, фарфорная бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но вот в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь – и завершай, воображай, дописывай, лепи – есть место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Круглолицые красотки со вздернутыми носиками и аленьким, пухлым ртом – мечта и вожеление советского офицера да директора трикотажной фабрики – не по мне. Быть может, воображение сделало мой

вкус изощренней, точнее – испорченней. Но может статься, и оттого, что до офицера я так и не дорос, остался на веки вечные чину неблагодарного и во все времена презренного – рядовым.

Потому и «красотки» не по чину мне, потому и выдумываю, доделываю лица, отгадываю души смятенные, тайные, порой, и чаще всего, тайные только для меня. Любовь – это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других – выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом, не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце – редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят, хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви.

И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзанимал тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила «утечки», она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации.

И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг до-

гадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.

Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.

Ах ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела – закаленная, свободная, смелая! – в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, – как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и, поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув ру-

ку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание – сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, – скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»

Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудренна и какой восторг жизни раздирает ее грудь...

Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня наворачивались слезы на глаза от жалости к себе, они думали – к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.

Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равно-

сильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.

Полагаю, что как раз вот этого – тайны или предчувствия ее – и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не нас-о-всем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть – они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Отравно-сладкая мука любви – самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. «Нет мгновений кратких и напрасных – доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праздник, слава Богу, неподвластный нам» – это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: «И мира нет – и нет нигде врагов; страшусь – надеюсь, стыну – и пылаю, в пыли влачусь – и в небесах витаю, всем в мире чужд – и мир обнять готов. У ней в плену, неволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков;

а жизни нет конца, и мукам — краю. Я зряч — без глаз; нем — вопли испускаю; я жажду гибели — спасти молю; себе постыл — и всех других люблю; страданием жив, со смехом я — рыдаю; и смерть, и жизнь — с тоскою прокляты; и этому виной — о Донна, ты!» — а это исторгнуто из могучего сердца, помогучему и страдавшего великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.